

12+

ПРАВО НА КРИК

Н. ГУРИНА, А. РУДЕНКО



Любовь — это не когда держат.
Это когда отпускают — и остаются рядом.

Наталья Гурина

Право на крик

«Издательские решения»

Гурина Н.

Право на крик / Н. Гурина — «Издательские решения»,

«Я хотела, чтобы она замолчала. Я хотела, чтобы она исчезла». Это не исповедь плохой матери. Это правда, о которой молчат. Книга-мифотерапия о том, что уставать — можно. Кричать — можно. Быть живой — можно.

Содержание

ЧАСТЬ 1	6
ГЛАВА 1. ЗОВ	6
ГЛАВА 2. РАЗЛОМ	10
ГЛАВА 3. ИСКРА	15
ГЛАВА 4. СХВАТКИ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Право на крик

Наталья Гурина

Анна Руденко

© Наталья Гурина, 2026

© Анна Руденко, 2026

ISBN 978-5-0071-0263-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧАСТЬ 1

ГЛАВА 1. ЗОВ

Мох рассыпался в пальцах.

Кикимора отёрнула руку — поздно. Серый прах уже осыпался с ладони, и в воздухе повис запах старой золы. Так пахнет остывший очаг наутро после долгой зимней ночи. Так пахнет то, что когда-то было живым.

Она собирала мох всё утро — мягкий, влажный, пахнувший болотной свежестью. Руки помнили каждое движение: захватить, потянуть, отделить от кочки, уложить в корзину. Этому её научила мать. Когда-то давно, в другой жизни, где мох был просто мхом, а не убежищем, не лекарством, не колыбелью для будущего.

Теперь он крошился. Прямо под пальцами — в пыль, в пепел, в ничто.

Кикимора опустила руку на колени и провела ладонью по болотному ковру. Серые проплешины расходились цепочкой — не случайной, а направленной. Как будто кто-то прошёл по болоту и забрал с собой жизнь, оставив след. След уходил на восток. Туда, где за лесом, за полем, за старой Межой темнела трещина в земле.

Разлом.

Вода оставалась чистой. Пресной, как всегда. Ни гнили, ни яда — она попробовала, а потом попробовала ещё, потому что трудно было поверить. Вода была в порядке. А мох умирал.

Кикимора сняла корзину с плеча. Поставила на кочку — осторожно, чтобы не потревожить то, что ещё оставалось живым. Она не думала. Ноги уже повернулись в нужную сторону. Она пошла, чувствуя, как под ступнями крошится мох — сначала часто, потом реже, а потом перестал. За границей проплешин мох оставался живым. Он ждал.

Вода горчила.

Самую малость. На грани ощущения — как будто кто-то бросил в реку крошечную крупицу воспоминания. Не яд. Не гниль. Что-то живое и встревоженное.

Водяной зачерпнул ещё. Та же горечь. Он обошёл запруды, проверяя течение, дно, рыбу. Рыба поднималась к поверхности слишком часто — искала кого-то. Вода оставалась прозрачной, но казалась странно прохладной для июльского полдня. Как вода из глубинного родника, которая никогда не видела солнца.

Он знал эту воду. Она была его языком, его памятью, его кожей. Он знал её, как знают собственное дыхание. И сейчас она дрожала.

Мелкой, испуганной рябью — не от ветра, не от его шагов. Как человек, который проснулся от кошмара и ещё не понял, где он. Вода помнила что-то, что случилось очень давно — или только должно было случиться.

Он закрыл глаза и послушал — телом, тем, что было водой в нём самом. Дрожь шла с востока. От Разлома.

Водяной вышел на берег, не глядя под ноги. Направление было выбрано за него. Вода уже текла туда — ему оставалось только следовать.

Горшочек с мёдом качнулся в когтях.

Жар-Птица прижала его к груди — машинально, сама не заметив. Она летала к Домне, проведать, как та обустроилась в дупле, и теперь возвращалась домой, в баню, где ждал Банник

и горячий чай. Мёд был первый, липовый, светлый — Домна просила передать Яге поклон и этот маленький глиняный горшочек.

Закат она увидела раньше, чем он начался.

Солнце ещё стояло высоко, до вечера было далеко. Но на востоке, над Разломом, небо вздрагивало. И из трещины поднимался дым. Густой, тёмный, маслянистый. Он стоял столбом, как будто земля выдыхала что-то древнее и тяжёлое.

Жар-Птица замерла в воздухе. В этом дыму угадывались очертания — корни. Огромные, переплетённые, уходящие вглубь. И в них — свет. Слабый, дрожащий, как свеча на ветру.

Она моргнула — видение исчезло. Сердце колотилось так, будто она только что пролетела сотню вёрст без отдыха. Она развернулась и полетела к Разлому, всё ещё сжимая горшочек в когтях. Мёд подождёт. Там, в глубине, что-то начиналось — и это «что-то» касалось всех.

Пламя проснулось — а жар ушёл.

Банник стоял посреди бани и смотрел, как тепло струится сквозь стены. Щелей не было — он проверил. Просто жар утекал, как вода сквозь пальцы, оставляя камни холодными, а воздух — сырым, как в погребке.

И шрамы заныли.

Те самые — на груди, на плечах, на лапах. Следы старого огня, того, что полыхнул в Разломе много лет назад. Тогда он был один. Тогда никто не пришёл. Шрамы затянулись, но память в них осталась — и сейчас они светились. Янтарным, подземным, тревожным светом. Как будто сама кожа помнила дорогу.

Банник посмотрел на свои лапы. Втянутые когти. Опушенные плечи. Он мог бы остаться. Затопить ещё раз, проверить трубу, подождать Жар-Птицу.

Он вышел из бани. Ноги уже несли его к Разлому — по старой тропе, которую он помнил слишком хорошо. По которой он шёл много лет назад. По которой никто не пришёл за ним следом.

На этот раз будет иначе. Он не знал, откуда взялась эта уверенность. Но она лежала в груди — твёрдая, как камень, которым он когда-то обложил печь.

Лес молчал.

В июле он должен был звенеть. Птицы, ветер, листья, насекомые — всё это сплеталось в единый гул, который Леший слышал даже во сне. Он знал голос каждого дерева. Знал, как шумит дуб, когда по его стволу пробегает белка. Знал, как вздыхает сосна в полуденный зной. Знал, как шепчет берёза, когда солнце касается её листьев.

Сейчас стояла тишина. Глубокая, плотная — как зимой, когда всё спит. Но был июль. Всё должно было жить и петь. А лес затаился. Как перед грозой. Как перед тем, чего сам не понимал.

Леший положил руку на ствол дуба — тишина. На сосну — тишина. На берёзу — тишина. Он шёл по лесу, и деревья не отвечали ему, но они наклонялись. Все в одну сторону. На восток.

Их корни обнажились — не высохшие, а полные влаги, живые. Как будто деревья тянулись к чему-то. Как будто они ждали.

Леший вздохнул — скрипуче, как старое дерево на ветру, — и пошёл по их наклону. Если лес молчит, но указывает путь, значит, надо идти.

Золото уходило из колосьев.

Полудень. Солнце в зените. Июль — самый светлый месяц, когда зерно наливается теплом и кажется, что само небо течёт в колосья. Всё было на месте. И всё изменилось.

Колосья стояли полные. Зерно вызрело, урожай обещал быть хорошим. Но цвет утек — не желтея, не серея, а становясь прозрачным. Как будто кто-то выпивал свет из мира. Как будто сам полдень заболел.

Полудница наклонилась, сорвала колос, растёрла в пальцах. Зерно было настоящим — твёрдым, весомым. Но свет внутри него отсутствовал. Она поднесла ладонь к глазам — зёрна лежали на коже, бледные, как луна при дневном свете.

Она пошла по полю — и заметила: трава под ногами ложится в одном направлении. Как будто кто-то огромный провёл ладонью по земле. Как будто само поле указывало путь. Направление вело к Разлому.

Спорить с полем — всё равно что спорить с солнцем. Поле знало больше. Она пошла, чувствуя, как колосья касаются её плеч — прощаясь или благословляя.

Закат дрожал.

Небо оставалось ясным, солнце садилось как обычно — но его свет вибрировал. Как отражение в воде, когда в воду бросают камень. Как воздух над раскалённой печью. Как ресницы человека, который силится не заплакать.

Яга знала эту дрожь. Она сидела на пороге — на своём месте, на границе между лесом и полем, между тем, что уже случилось, и тем, что ещё только должно было случиться. Она сидела здесь тысячи лет и за тысячи лет видела всё, что можно увидеть. Но эту дрожь она слышала только однажды.

Очень, очень давно. В другой жизни, где у неё было другое имя и другая судьба. Где мать ушла в лес — и не вернулась. Где маленькая девочка сидела на этом самом пороге и смотрела на закат, который дрожал точно так же. Тогда мир раскололся. Тогда она осталась одна.

Сейчас мир дрожал иначе. Не от разрыва — от напряжения. Как струна перед тем, как зазвучать. Как земля перед тем, как прорасти.

Яга встала. Взяла посох — не для опоры, для ритма. Она вышла на тропу, ведущую к Разлому, и пошла. Не быстро и не медленно. Так, как ходят те, кто знает: что бы ни начиналось, оно уже началось.

Трещина в земле дышала.

Старая, затянувшаяся по краям — но в глубине всё ещё живая. Камень по краям был оплавлен, как от удара молнии. Воздух дрожал — и в этой дрожи было что-то, от чего у Полудницы заныли зубы, а Банник положил лапу на грудь, где под шерстью угадывался свет.

Семь фигур вышли с разных сторон.

Кикимора, с серой пылью на пальцах — она так и не отряхнула руки. Водяной, с горьким привкусом на губах и водой, которая всё ещё дрожала в нём. Жар-Птица, всё ещё прижимающая к груди горшочек мёда — маленький, светлый, неуместный здесь. Банник, чьи шрамы просвечивали сквозь шерсть, как янтарные жилы. Леший, оглушённый тишиной, с ладонями, ещё помнящими молчание деревьев. Полудница, потерявшая золото полдня, с бледным зерном на ладони. Яга, помнящая звук, с посохом, который ещё не начал свой стук.

Они увидели друг друга и замерли. Никто не спросил: «Ты тоже?» Никто не сказал: «Я так и знал». Они стояли молча, и в тишине между ними росло знание — то, что собрало их здесь, больше каждого по отдельности.

Яга стояла у края и смотрела в темноту. Пальцы на посохе побелели. Она не говорила — ждала.

Жар-Птица поставила горшочек на землю. Мёд остался стоять у её когтей — она забыла про него.

Кикимора разжала ладонь. На ладони лежал серый комок, пахло болотом и концом.

— Вчера был зелёный.

Водяной коснулся воды в котелке, который принес с собой. Вода дрогнула — не от пальца. Сама. Пошла кругами, мелкими, частыми.

— Помнит, — сказал он. Не Яге. Воде.

Леший опустил ладонь на ствол ближней сосны. Кора под ладонью потеплела. Сосна наклонилась — самую малость. Он убрал ладонь. Сосна выпрямилась и замерла.

— Сюда, — сказал он. — Показывают сюда.

Полудница стояла, закрыв глаза. Пшеничное перо у виска вздрагивало.

Банник сидел на корточках, втянув голову в плечи. Молча развёл края рубахи. Шрамы на груди светились — медленно, ритмично. Как сердце.

Все посмотрели на его грудь.

Темнота внизу дышала.

Яга молчала. Она стояла у самого края и смотрела вниз. Её лицо оставалось спокойным — но пальцы, сжимавшие посох, побелели.

— Там кто-то есть, — сказала она наконец. Голос прозвучал ровно, даже буднично. — Кому нужна помощь. Остальное увидим.

И начала спускаться. Её посох стучал по камню — тук, тук, тук. Ритм, который будет с ними до конца.

Остальные двинулись следом. Они просто пошли. Шаги ложились в тишину один за другим. Ступали осторожно — не из страха. Так ступают, когда несут что-то, чему нет названия. Они просто шли — потому что каждый чувствовал: там, в глубине, что-то началось. И это «что-то» позвало их по отдельности, чтобы собрать вместе.

ГЛАВА 2. РАЗЛОМ

Воздух в Разломе пах железом и старой водой.

Так пахнет земля, которую вскрыли слишком глубоко и забыли засыпать. Так пахнет рана — снаружи затянувшаяся, а внутри ещё живая, помнящая. Яга спускалась первой. Её посох с хрустом вгрызался в рыхлый камень, оставляя цепочку лунок, а она шла вперёд, зная: если остановиться, можно и не пойти дальше. Спуск занял много времени — куда больше, чем можно было ждать от обычной трещины в земле. Разлом дышал — медленно, глубоко, как зверь во сне. И гостей он встречал с откровенной неприязнью.

Сначала воздух стал густым. Вязким. Каждый вдох приходилось проталкивать в себя усилием — грудная клетка застревала на середине, будто кто-то клал ладонь на грудь и давил. Кикимора попробовала дышать чаще — только хуже. Сзади послышалось сдавленное покашливание Полудницы. Потом пришёл запах: железо, старая вода, что-то сладкое и гнильное одновременно. Жар-Птица закашлялась.

— Горечь, — сказала она. — В воздухе горечь.

Её пламя съёжилось до язычка. Дым стелился по плечам, оседал на каменных выступах серой плёнкой. Со стороны могло показаться, что она просто волнуется, но те, кто знал её ближе, понимали: с огнём у неё всегда были особые отношения. С тех пор как она перестала быть фальшиво-золотой, её пламя стало честным. А честное пламя гаснет быстрее.

Банник молча потрогал стену — и отёрнул лапу. Камень был горячим, как кожа больного в лихорадке. Шрамы на груди заныли в ответ, глухо, протяжно. Он ничего не сказал. Только посмотрел на Жар-Птицу. Она встретила его взгляд и отвела глаза — не потому что ей было всё равно, а потому что она тоже чувствовала этот жар и не хотела, чтобы он знал.

Всхлип в глубине нарастал. Он пульсировал, метался между стенами, то приближался, то удалялся, то звучал сразу отовсюду.

Полудница молчала. Её разум тянулся к ритму — и упирался в пустоту. Молчание её стало напряжённым, как струна, которую вот-вот порвут. Она всегда искала порядок. Даже там, где его не было. Особенно там, где его не было.

Тьма сгущалась. Свет Жар-Птицы уже добивал только до ближайших лиц. Кварцевые прожилки на камне пульсировали всё реже — раз, и темнота, два, и темнота. Шаги звучали глухо, камень поглощал их. Кикимора чувствовала, как рубашка прилипла к спине. Пот стекал по вискам, собирался в ямке над ключицей, охлаждал кожу. Она облизнула губы — соль.

А потом камень ушёл из-под ног Лешего.

Опора исчезла резко, без предупреждения. Он рухнул вперёд, выставив руки. Колено встретило камень. Удар ушёл в стены, в пол, в грудные клетки тех, кто стоял позади.

— Леший! — голос Кикиморы сорвался на полуслове.

Он уже поднимался. Ладонь проехала по стене — влажный след остался на камне. Пахнуло прелой корой, нагретой хвоей, глубинным лесным теплом. Тишина стояла такая, что слышно было, как земля осыпается у него с плеча.

— Идём.

Слово упало. Негромкое, тяжёлое. Он шагнул. Правой ногой — короче, осторожней. Левая ступала как прежде. Правая — ждала. Шаг. Ещё шаг. Полудница открыла рот. Закрыла. Пошла следом.

Воздух стал обжигающим. Каждый вдох драл горло. Кикимора закашлялась, на глазах выступили слёзы. Жар-Птица снова попыталась раздуть пламя — воздух высосал свет. Остался только дым. Чёрный, маслянистый. Он оседал на лицах, на одежде, на крыльях. Все стали похожи на трубочистов после долгого рабочего дня.

И вдруг всё стихло.

Всхлип оборвался. Шаги перестали отдаваться эхом. Даже собственное дыхание исчезло — осталась только тишина. Плотная, как толща земли над головой. В этой тишине пряталось что-то хуже звука. Что-то, что слушало их в ответ.

Кикимора замерла. Воздух качнулся у щеки — и она почувствовала дыхание. Горячее. Влажное. Чужое. Оно пахло железом.

Она застыла. Её пальцы сами нашли руку Водяного и сжали. Ладонь была прохладной и твёрдой — как речное дно. Он стоял рядом, каменный, надёжный, неподвижный.

Никто не произнёс ни слова. Да и что тут было говорить? «Ты тоже это почувствовал?» — глупый вопрос. Все почувствовали.

Тьма расступилась. Свет Жар-Птицы вспыхнул сам собой — яркий, почти слепящий, — и они увидели, где стоят. Спуск закончился. Перед ними открывался коридор. Стены — из стекла. Мутного, дымчатого. Внутри что-то двигалось. То, что знало их имена.

Яга стояла на пороге. Посох в её руке дрожал — от напряжения, которое шло сквозь камень. Она посмотрела на стекло долгим, тяжёлым взглядом. Потом обернулась к остальным — взъерошенным, вспотевшим, перепачканным каменной пылью. Вид у них был, прямо скажем, скорее как у семерых существ, которые очень хотят домой, но почему-то идут в противоположную сторону.

— Ну, — сказала она. — Идём. Кто там звал?

И вошла в коридор. Позади осталась тьма и жар. Впереди — стекло. И тени. И всхлип, который теперь звучал так близко, будто шёл изнутри.

Стекло за их спинами пошло рябью, как вода, в которую бросили камень. И сомкнулось. Обратного пути не было. Впрочем, его и раньше не было — просто теперь это стало очевидно.

Кикимора не поняла, когда осталась одна.

Только что рядом шёл Водяной — она чувствовала его плечо, его дыхание, его тепло. Только что сзади слышались шаги Полудницы и хриплое дыхание Банника. А потом — тишина. Она обернулась. Никого. Только стекло. Мутное. Опасное. Дышащее.

— Водяной?

Тишина. Она повернулась в другую сторону. Стекло. И в нём — женщина.

Та, прежняя. Пальцы её двигались быстро, привычно, сами по себе — скручивали невидимую нить, вязали сеть. Лицо было пустым. Просто пустым, как у того, кто давно перестал спрашивать себя, зачем он делает то, что делает. Женщина в стекле смотрела сквозь Кикимору — туда, где когда-то был Водяной, опутанный сетью по рукам и ногам.

Кикимора опустила взгляд. Её собственные пальцы дёргались в том же ритме. Скручивали, затягивали, вязали. Она смотрела на них и видела чужие руки. Тело помнило. Тело хотело. Это было самое страшное — то, что пальцы узнали и отозвались. С готовностью. С теплом. Как будто ждали этого. Как будто всё это время, пока она училась держать, а не душить, они терпеливо помнили, как вязать сети.

Она заставила их замереть. Сжала в кулак — ногти впились в ладонь. Боль помогла. Но пальцы всё помнили. Она разжала кулак — и они заныли, как будто просили продолжения. Предатели. Маленькие, умелые предатели.

Стекло дышало в плечо. Отражение плело и плело. Просто напоминало.

— Кикимора.

Голос Водяного. Он стоял в нескольких шагах — бледный, с белой пылью на скулах. Он появился незаметно, и за его спиной уже стояли остальные. Лица у всех были такие, словно они только что увидели что-то очень личное и растерянно молчали. Что, в общем-то, и случилось.

— Ты видел? — спросила она. Голос был сиплый.

— Видел.

— Это была я. Настоящая.

Водяной ничего не ответил. Он просто взял её за руку — ту самую, которая плела. Ладонь была тёплая, шершавая, живая. Пальцы замерли. Он всегда знал, как заставить их замереть. Это была одна из причин, по которым она его любила.

Яга подошла. Посмотрела на Кикимору. На стекло, которое всё ещё дышало. На Водяного, который держал жену за руку, и на его скулах проступала белая пыль. Потом перевела взгляд на остальных — каждый видел что-то своё, но никто не говорил.

— Зеркало оно, — сказала Яга. Голос был ровный, будничный, как если бы она говорила о погоде. — А зеркало не врёт. Просто смотреть в него больно.

Она развернулась. Посох стукнул по камню — тук.

Коридор расширился.

Тишина стала другой. Задумчивой. Как будто каждый разговаривал сам с собой и не хотел, чтобы его прерывали. Кикимора разминала пальцы — они больше не дёргались, но она всё равно проверяла. Водяной молчал, и известка на его скулах потемнела. Полудница хмурилась — она пыталась понять, что за ритм был в том всхлипе. Леший припадал на правую ногу, но шёл. Он всегда шёл.

А потом Водяной остановился.

Он не заметил, как отстал. Просто вдруг оказался один — и перед ним было стекло. Огромное. Во всю стену. И в нём — вода. Чистая, прозрачная, спокойная. Она держала его. Он поднял руку — вода поднялась следом. Опустил — вода опустилась. Она была послушна ему. На берегу кто-то стоял — он знал, кто, — и ему было спокойно. Так спокойно, как не было уже очень, очень давно.

«Ты держишь — и тебя держат».

Он хотел этого. Так хотел, что тело само сделало шаг. Ладонь упёрлась в стекло — тёплое, живое. Он чувствовал, как вода манит его. Обещает. Он был сильным там. Он был надёжным. Он был тем, кем всегда хотел быть — и никогда не мог. Тем, кто держит, а не топит. Тем, кто остаётся на поверхности. Тем, на кого можно положиться.

— Водяной!

Кикимора. Где-то далеко. Она звала его. Он слышал — и не мог ответить. Губы не слушались. Тело не слушалось. Он сделал ещё шаг. Вода была совсем близко. Она была тёплой. Она ждала.

И тут кто-то схватил его за плечо и дёрнул назад. Сильно. Так, что зубы клацнули.

Кикимора. Мокрая, взъерошенная, злая. Она трясла его, как мешок с травами, и вид у неё был такой, будто она готова была то ли заплакать, то ли ударить его ещё раз. Возможно, и то и другое одновременно.

— Ты что?! Ты куда?!

Он моргнул. Стекло было просто стеклом. Вода исчезла. Он стоял посреди коридора, и все смотрели на него. Жар-Птица приоткрыла клюв. Банник нахмурился. Полудница застыла с приоткрытым ртом. Даже Леший, который вообще редко на кого смотрел, поднял глаза.

— Я... — он запнулся. — Я видел воду. Я был... я держал её. Она слушалась.

Кикимора всё ещё держала его за плечо. Пальцы её дрожали. Она ничего не сказала — только посмотрела на него так, как смотрят на человека, который только что чуть не выпал из лодки и утверждает, что просто хотел поплавать.

Яга стояла рядом. Она смотрела на него долгим, спокойным взглядом. Потом перевела глаза на стекло. Потом снова на него.

— Ты на дно хотел, — сказала она. — А оно тебе показало, как ты на дне лежишь. И что, соврало?

Водяной молчал. Он смотрел на свои руки — мокрые, дрожащие. На стекло, за которым только что была вода. На Кикимору, которая всё ещё держала его за плечо.

— Нет, — сказал он наконец. — Не соврало.

Яга хмыкнула. Посох стукнул по камню — тук. Водяной шёл и смотрел на свою ладонь — ту, что касалась стекла. Она всё ещё была тёплой. Он сжал её в кулак. Тепло осталось. Но теперь оно было его собственным.

Коридор снова расширился — и они оказались в зале.

Стены, пол, потолок — всё из стекла. Оно дышало. Оно двигалось. Оно ждало. И вид у него был такой, словно оно приготовило что-то особенное и теперь предвкушало реакцию.

Полудница поняла, что одна.

Она стояла посреди поля — мёртвого, стеклянного. Колосья звенели под ветром, но это был не её ветер. Её ветер был тёплым и пах полынью. Этот был холодным и пах ничем. Она пошла по полю — и поняла: опоздала. Урожай собрали без неё. Солнце село без неё. Всё, что она должна была успеть, — уже случилось. Без неё.

Она смотрела на небо — и видела часы. Огромные, во всю высь. Стрелки замерли. Она знала этот циферблат. Она считала его каждый день. Каждую ночь. Каждую минуту годами. Даже когда перестала считать — она всё равно его помнила.

«Ты всегда приходишь слишком поздно».

Это было правдой. Она помнила каждый раз. Помнила поле, которое стекленело под её пальцами, а она не заметила. Помнила каждый случай, когда её контроль оказывался бессилён. Это была она. Это была её грань. Не ложь. Не выдумка. Она сама. Та часть, которая всегда опаздывает.

И вдруг она рассмеялась. Коротко. Горько. Искренне. Смех поднялся откуда-то из живота — сначала тихий, потом громче. Она сама удивилась этому смеху. Он был неожиданным, как чихание в тишине.

— Я не знаю, куда я опоздала, — сказала она вслух. — Я даже не знаю, куда шла. Как я могу опоздать, если у меня нет расписания? Я, конечно, пыталась его составить. Но оно всё время куда-то девалось. Наверное, опаздывало вместе со мной.

Часы замерли. Стрелки дрогнули — и застыли. А потом циферблат пошёл трещинами, и стекло осыпалось. С тихим, мелодичным звоном, как будто кто-то рассыпал горсть серебряных монет.

Полудница стояла посреди зала. Все смотрели на неё. Она всё ещё улыбалась — криво, устало, но искренне.

— Что? — спросила она. — Вы тоже это видели?

Никто не ответил. Да и что тут было говорить? Каждый видел. Каждый понял. Каждый думал о своей грани — той, которую стекло ещё не показало, но обязательно покажет.

Яга смотрела на неё. Потом перевела взгляд на остальных — на Кикимору, которая всё ещё разминала пальцы; на Водяного, который сжимал и разжимал кулак с невидимым теплом; на Жар-Птицу, которая стояла очень тихо; на Банника, который прижимал лапу к груди; на Лешего, который опустил голову и смотрел на свою тень.

— Интересно, — сказала Яга тихо, себе под нос, но так, чтобы услышали. — Каждому — своё. И ведь не придумало же. Своё показывает. У каждого — своё.

И отвернулась. Как будто сказала что-то незначительное. Как будто не она только что назвала лабиринт зеркалом, а их самих — теми, кто смотрит.

Яга шла.

Мать стояла на пороге их старой избы и смотрела в лес. Узелок в одной руке, посох в другой. Молодая. Красивая. Живая. Яга помнила этот день. Помнила, как сидела на пороге и ждала, когда мать обернётся. Мать не обернулась. Тогда.

Сейчас Яга смотрела на неё — и шла, не замедляя шаг. Мать в стекле подняла голову. Встретила её взгляд. И Яга прошла сквозь. Образ остался за спиной. Как воспоминание. Как старая фотография, которую ты хранишь не потому что хочешь вернуться, а потому что это часть тебя.

Изба. Та самая, детская. Очаг остыл. Пыль на лавке. Порог, на котором никто не сидит. Яга помнила запах этого дома — сухие травы, берёзовый веник, что-то печное. Помнила, как боялась в него входить, когда осталась одна. Помнила, как сидела на пороге и не могла заставить себя переступить. А потом переступила. Потому что надо было жить дальше.

Теперь она прошла сквозь. Просто прошла. Очаг остался за спиной.

Лес. Тропа, по которой уходят. Лица. Имена. Голоса. Все, кого она потеряла за свою долгую жизнь. Они смотрели на неё из стекла — одни с укором, другие с грустью, третьи просто молча. Яга провела по ним взглядом. Задержалась на одном лице. На другом. Кто-то улыбнулся ей. Кто-то покачал головой. Она кивнула — не им, а себе. И пошла дальше.

Лабиринт показывал ей всё это — а она шла. Не боролась. Не спорила. Не кричала «врётся». Просто шла. Потому что это была её жизнь. Её память. Её правда. Она уже прожила это. Она уже простила. Она уже стала собой. А когда становишься собой, воспоминания — это просто воспоминания. Они не держат. Они просто есть.

Стекло замерло. Лабиринт не знал, что ей показать.

И тогда он показал порог. Но не пустой. Внутри избы горел огонь. Кто-то сидел за столом — она не видела лица, но знала: её ждут. Не за мудростью. Не за советом. Просто ждут. Она переступила порог — в отражении, — и оказалась внутри. И дверь за ней не закрылась. Она осталась открытой.

«Ты дома».

Яга остановилась. Посмотрела на огонь. На стол. На того, кто сидел за столом. Долго. Потом хмыкнула.

— Я уже дом, — сказала она. — Для дураков, которые лезут в Разлом без спроса. Для тех, кто не спит по ночам. Для всей этой компании. Другого дома мне искать незачем.

И отражение в стекле улыбнулось. И растаяло.

Яга подняла посох. Постучала — тук, тук, тук. Как в дверь. Как будто пришла в гости и ждала, пока откроют. Стекло осыпалось.

Она вышла в пещеру первой. Огромный свод. Камень и корни. В центре — узел корней Мирового Древа. В узле пульсировал свет. Маленький. Тёплый. Живой. Яга подошла к нему. Остановилась. Скрестила руки на посохе. Долго смотрела на свет — прищурившись, как смотрят на дым из трубы, пытаясь понять, что там горит.

Остальные выходили один за другим.

Они встали вокруг света. Смотрели. Ждали.

Яга постучала посохом по дереву.

— Ну, — сказала она. — Долго ты тут сидеть собираешься? Мы пришли.

И свет вспыхнул ярче в ответ.

ГЛАВА 3. ИСКРА

Пещера оказалась огромной.

Свод уходил в темноту — где-то там, высоко-высоко, камень смыкался с корнями, и понять, где кончается одно и начинается другое, было невозможно. Воздух здесь был иной, чем в лабиринте. Тёплый. Влажный. Он пах землёй, жизнью, чем-то сладким и немного приторным, как мёд, который слишком долго стоял на солнце.

А в центре пещеры, в узле корней, пульсировал свет.

Корни Мирового Древа сплетались здесь в огромный узел — толстые, в два обхвата, покрытые мягким мхом. Некоторые светились изнутри слабым голубоватым свечением, как будто по ним текла светящаяся вода. Другие были тёмными и влажными. Все они дышали — медленно, глубоко, в ритме, который был древнее, чем сама земля.

И в этом узле билось сердце. Маленькое. Тёплое. Живое.

Герои замерли.

Даже Яга стояла, опершись на посох, и смотрела на свет с выражением, которое бывает у человека, обнаружившего в собственном чулане нечто, чего он туда не клал.

Кикимора сделала шаг вперёд. Свет дёрнулся — резко, испуганно, как зверёк, который заметил движение в траве. Она замерла.

— Живое, — выдохнула она. — Оно живое.

Водяной подошёл ближе. Всмотрелся в переплетение корней, в пульсирующий свет, в слабые голубые прожилки, которые расходились от узла, как вены. От света шло тепло — мягкое, как от печи, которую только что затопили. И запах, как после грозы. Еще сладость, как от цветущего луга. И что-то ещё — что-то живое, звериное, тёплое.

— Больно ему, — сказал Водяной. — Оно мучается.

Полудница шагнула вперёд, склонила голову набок — она всегда так делала, когда пыталась понять то, что понять было невозможно. Свет пульсировал в странном ритме: тук-тук... пауза... тук... пауза... тук-тук-тук. Сбивчиво. Неровно. Как сердце, которое устало биться.

— Ритм сбит, — сказала она. — Оно на пределе.

Жар-Птица приоткрыла клюв, но ничего не сказала. Её собственное пламя, такое слабое в лабиринте, здесь чуть-чуть ожило — может быть, от тепла, которое шло от света. Может быть, от чего-то ещё. Банник стоял рядом с ней и прижимал лапу к груди — старые шрамы молчали, но он всё равно их чувствовал.

Леший медленно, очень медленно подошёл к корням. Протянул руку. Подержал ладонь рядом — и вдруг отдёргнул, будто обжёгся.

— Звало, — сказал он. Голос был глухой, как земля. — Это оно звало.

И в этот момент свет в корнях издал звук.

Другой — не тот всхлип, что они слышали в лабиринте. Тихий, тонкий, протяжный — как стон существа, которое потратило последние силы на крик, а теперь могло только шептать. Он прошёл сквозь пещеру, отразился от свода, вернулся эхом — и стих.

Свет потускнел. Совсем чуть-чуть. Но все это заметили.

— Оно угасает, — сказала Кикимора. Голос дрогнул. — Если мы ничего не сделаем, оно умрёт.

Тишина.

Яга стояла позади всех. Она смотрела на свет, на корни, на семерых существ, замерших в нерешительности. Её лицо было спокойным — как всегда. Но пальцы, сжимавшие посох, побелели.

— Ну, — сказала она. — Стоять и смотреть — тоже дело. Но, может, кто-нибудь всё-таки подойдёт поближе? А то мы как на похоронах, только покойник ещё дышит.

Напряжение чуть-чуть спало. Кикимора переглянулась с Водяным. Полудница перестала считать ритм. Жар-Птица расправила крылья. Леший снова протянул руку к корням — и на этот раз коснулся.

Свет в узле дрогнул. И замер. Как будто ждал.

Стон повторился — и герои сорвались с места.

Одновременно, без команды. Просто семеро существ, которые только что стояли и смотрели, вдруг поняли: ещё мгновение — и этот свет погаснет. А они так и не попробовали. Как будто кто-то крикнул «Пожар!» в доме, где все спали, — и теперь каждый хватал первое, что попало под руку, и бежал тушить, даже не зная, что именно горит.

Кикимора бросилась к корням первой. Потому что видела то, что видела всегда: кто-то страдает, кто-то запутался, кто-то не может выбраться. Это было её призвание, её проклятие, её способ любить. Её пальцы, те самые, которые учились просто держать, — уже тянулись к корням. Расплести. Разорвать. Освободить. Она ухватила за ближайший корень, потянула — и он поддался. На долю мгновения ей показалось, что она справилась, что сейчас всё получится, что ещё немного — и узел рассыплется сам.

А потом соседний корень сжался с такой силой, что Искра вскрикнула — тонко, пронзительно.

Кикимора отдернула руки. Но было поздно: узел стал только туже. Она попробовала с другой стороны — результат вышел ещё хуже. Корни вели себя как строптивые дети: чем больше она их распутывала, тем сильнее они путались. Прямо как её старые сети. Прямо как её старая жизнь.

— Да что ж ты!.. — она рванула сразу два корня. Один хрустнул. Искра застонала. — Прости, прости, я не хотела...

Водяной видел, что корни сухие, ломкие, потрескавшиеся — и его душа не могла этого вынести. Если что-то сухое — это надо напоить. Если что-то ломкое — это надо смягчить. Он вытянул влагу из воздуха, собрал капли на ладонях, прижал к корню. Вода впиталась мгновенно — и корень стал тяжелее. Твёрже. А значит — давил сильнее.

— Воды мало, — прорычал он и вытянул ещё. Воздух в пещере стал сухим, как в пустыне. Полудница закашлялась. Жар-Птица чихнула искрой. А корни только набухли и стали давить на Искру с удвоенной силой.

— Ты её утопишь! — крикнула Кикимора.

— Я её напою!

— Она живая, а не растение!

Водяной замер с мокрыми ладонями. Вид у него был растерянный — как у человека, который поливал цветок и вдруг обнаружил, что цветок — это кошка.

Жар-Птица видела этот хаос и думала: «Им нужен свет. Им нужно увидеть, где слабое место. Я освящу узел — и тогда станет ясно, какой корень можно перерезать, а какой лучше не трогать». Это была здравая мысль. Очень здравая. Проблема была в том, что её пламя в этом месте всё ещё едва теплилось, а чтобы осветить такой огромный узел, требовалась сила. Она раздула пламя — и вспышка вышла слишком яркой. Слишком резкой. Пещера озарилась, как будто кто-то поджёт бочку с сухим мхом.

Искра зажмурилась. Втянулась в себя. Сжалась в комок.

— Ты её слепишь! — заорал Банник.

— Я показываю путь!

— Ты показываешь пожар!

Жар-Птица погасила пламя. Глаза у неё были виноватые. Крылья дрожали. Она хотела помочь. Она всегда хотела помочь. Но её помощь, опять началась с фейерверка и закончилась катастрофой.

Банник смотрел на корни. Потом на свои лапы. Потом на шрамы на груди — они уже тлели.

Он прижал лапы к корням. Шрамы вспыхнули, как угли. От корней потянуло теплом. Потом дымом. Потом запахло горелым — сладковатым, тревожным, как палёный сахар.

Корни не поддались. Они задымились, выталкивая смолу. Липкую. Густую. Тёмную.

Искра прилипла к корню. Буквально. Свет её задрожал, забился — и остался на месте, потому что отодвинуться она больше не могла.

— Ты её приклеил! — Кикимора готова была рвать на себе волосы.

— Я размягчал!

— Ты её приклеил!!!

Банник отдёргнул лапы и уставился на них с таким видом, будто они его предали. Шрамы на груди пульсировали. Он хотел помочь, а стал клеем.

Полудница стояла в стороне, и её разум работал на пределе. Корни сжимали Искру. Значит, нужно, чтобы они стали длиннее. Если корни вырастут, они истончатся, ослабнут, и Искра сможет выскользнуть. Это была простая, ясная, понятная логика. Полудница была духом Зенита. Она заставляла колосья наливаться. Заставляла цветы раскрываться. Заставляла зерно созревать. Она могла заставить корни вырасти.

Она вложила силу. Корни дрогнули — и пошли в рост. Но не в длину. В толщину. Потому что это были корни Мирового Древа, а не стебли на поле. Они отвергли её силу — они использовали её. Становились крепче, мощнее, тяжелее. Искра сжалась в комок, света стало почти не видно.

— Они растут не туда! — закричала Полудница.

— Так перестань! — заорали все хором.

— Я не могу! Они сами!

Она отдёргнула руки, но корни уже стали толще. Искра задыхалась. Полудница смотрела на свои ладони и сомневалась. Она хотела дать рост — а дала удушье. Как будто мир смеялся над ней.

Леший подошёл к корням последним. Он не спешил. Он знал: Древо — это основа. Если корни держат Искру, значит, на то есть причина. Но может быть, с Древом можно поговорить? Может быть, оно слушает его — старого, корявого, но своего? Он прижал руки к корням и закрыл глаза. Потянулся вглубь — туда, где текли древние соки, где шелестела листва наверху, где земля встречалась с небом.

Древо молчало.

Просто молчало. Как лес, который затаился перед грозой. Как старый друг, который отвернулся, потому что ему стыдно.

— Оно бессильно, — сказал Леший. — Древо не может её отпустить.

— Почему?! — Кикимора уже почти кричала.

— Потому что она сама отказывается.

Тишина.

Все замерли. Корень, который тянула Кикимора, выскользнул из рук. Полудница перестала вливать силу. Жар-Птица погасила пламя. Банник отдёргнул лапы от дымящихся корней. Водяной опустил руки, и вода, которую он собрал, стекла на пол.

Леший стоял, прижав ладони к корням. Пальцы медленно сжались. Разжались. Сжались снова — будто взвешивали что-то, чему нет названия. Он поднял голову. Хотел сказать — и промолчал. Корни поняли.

Пахло горелым, влагой, смолой, мокрой землёй и полным, абсолютным провалом. Вокруг корней творилось что-то невообразимое: дымящиеся, мокрые, разбухшие, потрескавшиеся корни, которые стали ещё толще, ещё крепче, ещё беспощаднее. А в центре этого безобразия пульсировал свет — слабый, но ровный. Живой.

Яга сделала шаг вперёд. Она не сказала ни слова. Просто подошла ближе. И все расступились — не потому что она приказала, а потому что от неё повеяло чем-то спокойным. Чем-то, чего им всем отчаянно не хватало.

Она остановилась у самых корней. Посмотрела на Искру. На её дрожащий свет. На корни, которые сжимали её, как пальцы, боящиеся разжаться.

Искра дышала. Свет её пульсировал — слабо, но ровнее, чем минуту назад. Как будто она ждала, что будет дальше. Как будто крик был последним, что у неё осталось, и теперь она просто смотрела на них — семь существ, которые пришли на зов и попытались помочь, но пока только наломали дров.

В прямом смысле.

Корни вокруг неё дымились, трескали, были мокрыми, липкими от смолы и местами подпаленными — зрелище, надо сказать, нелепое. Если бы кто-то со стороны заглянул в пещеру, он бы решил, что здесь тушили пожар, попутно устраивая потоп, пересчитывая дрова, поливая их водой и пытаясь заставить их вырасти. Примерно так оно и было.

Тишина навалилась не сразу.

Сначала ещё был треск корней, шипение смолы, чьё-то сдавленное дыхание, капли воды, падающие с ладоней Водяного на каменный пол. Потом стихло и это. Остался только пульс Искры — слабый, неровный, как сердце, которое раздумывает, стоит ли биться дальше.

Результат помощи был налицо: узел стал ещё туже, ещё крепче, ещё беспощаднее. Свет внутри едва пробивался сквозь сплетение корней — бледный, дрожащий, умирающий.

Кикимора смотрела на свои руки. Они дрожали. На пальцах остались следы смолы — липкие, тёмные, похожие на запёкшуюся кровь. Она потёрла их друг о друга, но смола не оттиралась. Она смотрела на эти руки и видела в них то, что видела всегда: душительницу. Ту, что хотела помочь — и задушила. Ту, что хотела расплести — и затянула. Ту, что всегда, всегда, всегда делает только хуже.

Водяной сидел на камне, опустив голову. Его ладони были мокрыми, с пальцев всё ещё капало. Он смотрел на лужицу, которая собиралась у его ног, и думал о том, что вода, его родная стихия, стала орудием мучений. Он хотел напоить — а получилось утопить. Или почти утопить. Или сделать так, что корни стали тяжелее и теперь давили сильнее. Он всегда боялся, что его сила обратится против тех, кого он любит. И вот. Обратилась.

Леший стоял, прижав руки к корням. Просто стоял и слушал тишину, которая шла из глубины. Дерево молчало. Он звал его — а оно молчало. Он просил — а оно отворачивалось. Он, который был Основой, который вращал в неё, как корень, — он оказался чужим. Ненужным. Бесплезным.

— Мы её убиваем.

Голос Кикиморы прозвучал глухо, как будто из-под земли.

Тишина. Пульс Искры — тук... пауза... тук...

— Может, её вообще нельзя трогать? — спросил Банник. Голос у него был хриплый, как будто он сам только что горел. — Может, мы всё портим?

— Нельзя не трогать! — Кикимора повернулась к нему. — Она умирает! Если мы ничего не сделаем, она умрёт!

— А если мы её убьём раньше, чем она сама?! — рявкнул Банник. — Ты посмотри, что мы натворили! Мы её и утопили, и сожгли, и приклеили, и раздавили! Может, лучше просто отойти и дать ей умереть спокойно?!

Кикимора открыла рот — и закрыла. Ей нечего было ответить. Она смотрела на Банника, и он смотрел на неё, и оба видели одно и то же: страх. Одинаковый. Липкий, как смола на корнях. Страх, что они уже опоздали. Что она умирает. Что они пришли — и только сделали хуже.

Водяной поднял голову. Посмотрел на свои мокрые ладони. Потом на корни. Потом на Кикимору.

— Я думал, что смогу помочь, — сказал он. — Я всегда думал, что смогу. Вода — она мягкая. Она просачивается. Она находит путь. А здесь... — он покачал головой. — Здесь она только добавила веса.

— Мы все думали, что сможем, — тихо сказала Жар-Птица. Она всё ещё не зажигалась. Перья её были серыми, как пепел. — Мы все думали, что наш способ — правильный. Что наша сила — та, что нужна. А оказалось...

— А оказалось, что мы — дураки, — закончила за неё Полудница. — Семь древних духов, которые не могут помочь одному маленькому существу.

Она замолчала. Потом вдруг хмыкнула — горько, криво.

— Знаете, что самое смешное? Я считала. В лабиринте я считала часы. Здесь я пыталась считать корни. Как будто от пересчёта их станет меньше. Как будто если я найду систему, мир подчинится. А мир живёт своей волей. Он никогда не подчинялся.

Она замолчала. Никто не ответил.

Искра дышала. Свет её был слабым, но ровным. Как будто она ждала. Как будто она знала что-то, чего они не знали.

Водяной вдруг поднялся с камня. Подошёл к Кикиморе. Не сказал ни слова — просто взял её за руку. Ту самую, которая дёргала корни. Ладонь была тёплая. Шершавая. Живая.

Кикимора вздрогнула. Посмотрела на него. Он смотрел на неё — и в его глазах не было упрёка. Только усталость. Только понимание. Он тоже пытался. И у него тоже всё провалилось. И он тоже чувствовал себя дураком. Но он всё ещё был здесь.

Жар-Птица вдруг шевельнула крылом. Чуть-чуть. Самую малость. И Банник, который стоял рядом, почувствовал это движение — не увидел, а именно почувствовал, как тёплый ветерок коснулся его шерсти. Он поднял голову. Она смотрела на него. Не на корни. Не на Искру. На него.

— Я тоже, — сказала она. — Я тоже пыталась. У меня тоже всё провалилось.

— Знаю, — сказал он.

Леший стоял с руками на корнях. Он всё ещё слушал. И вдруг — что-то изменилось. Не в Древе. В нём самом. Он почувствовал, как корни — не те, что сжимали Искру, а те, что уходили глубоко в землю, — дрогнули. Едва заметно. Как будто кто-то далеко-далеко вздохнул.

Он открыл глаза.

— Я знаю этот свет, — сказал он.

Тишина. Все повернулись к нему.

— Что? — Кикимора шагнула ближе.

— Я знаю этот свет, — повторил Леший. — Он... наш.

Никто не понял. Но пульс Искры на мгновение стал чаще. Как будто она услышала. Как будто она ответила. Как будто она ждала именно этих слов.

Все повернулись к Лешему. Он стоял, прижав руки к корням, и лицо у него было такое, словно он только что обнаружил под старым пнём сокровище, о котором забыл сто лет назад.

— Что значит «наш»? — Кикимора подошла ближе. Она всё ещё тёрла пальцы, пытаясь отчистить смолу, но сейчас забыла о них.

Леший помолчал. Он всегда молчал перед тем, как сказать что-то важное. Не потому что тянул время, а потому что слова, как деревья, должны были пустить корни, прежде чем вырасти.

— Когда тень ко мне вернулась, — сказал он наконец, — здесь что-то дрогнуло. Я почувствовал через корни. Тогда не понял. Думал — Дерево растёт. Думал — земля оседает. А это был свет. Он стал ярче.

Он перевёл взгляд на Кикимору.

— Когда твои руки стали свободными. Тоже. Свет стал теплее.

Потом на Водяного.

— Когда лёд внутри тебя растаял. Тоже.

На Жар-Птицу.

— Когда твой огонь стал настоящим. Когда Банник вышел из тени и показал когти. Когда Полудница впервые просто дышала. Когда Яга вошла в дом, а не осталась на пороге.

Он замолчал. Все молчали. Яга, стоявшая у дальней стены, чуть заметно шевельнула бровью — то ли соглашаясь, то ли удивляясь, что старый пень так много говорит.

Пульс Искры звучал в тишине — тук, тук, тук. Ровнее, чем раньше. Как будто она слушала.

— Ты хочешь сказать... — начала Кикимора и осеклась.

— Это она, — сказал Леший. — Та самая. Из Разлома. Когда мы жили ковали, что-то родилось. Мы все почувствовали тогда. А потом ушли.

— Бросили, — сказала Жар-Птица. Голос у неё был глухой, как будто она говорила сквозь сажу. — Сделали — и бросили.

— Она росла здесь одна, — добавила Полудница. Она всё ещё сидела на камне, обхватив колени, но теперь выпрямилась. — Всё это время. Пока мы становились... собой. Из этого. Из нас.

— Мы не приходили, — сказала Кикимора. Голос её сорвался. — Она звала. А мы...

— А мы слышали, но не понимали, — закончил Водяной. Он подошёл к Кикиморе и встал рядом. — И пришли только сейчас. Когда она уже почти...

Он не договорил. Да и не нужно было.

Тишина. Долгая. Тяжёлая. Свет в корнях чуть-чуть потеплел — как будто кто-то подбросил уголёк в почти погасший очаг.

Яга отошла от стены. Подошла ближе. Посмотрела на них — семерых существ, стоящих вокруг корней с видом побитых, но не добитых. И хмыкнула.

— Ну да, — сказала она. — Виноваты. Бросили. Не приходили. Все дела. Дальше что? Стоять и выть или всё-таки попробуете?

Кикимора переглянулась с Водяным. Потом повернулась к корням. Подошла ближе — не на шаг, на полшага. Протянула руку. Не чтобы схватить. Не чтобы разорвать. Просто — коснуться.

Пальцы замерли в нескольких сантиметрах от света.

— Мы здесь, — сказала она. — Мы пришли. Мы опоздали. Мы виноваты. Но мы здесь.

Свет дрогнул. Не от страха. Как будто слушал.

И Кикимора — сама не зная, откуда это взялось, — тихо запела. Без слов. Просто мотив. «Баю-ле... баю-лей...». Тот самый, из будущего, которого ещё не случилось, но которое уже жило в ней.

Искра вспыхнула ярче. И ответила.

После того как Кикимора запела — а Искра ответила ей, вспыхнув ярче, — наступила тишина. Но теперь она была другой. Не испуганной. Не напряжённой. Выжидательной. Как будто все задержали дыхание и ждали.

Кикимора опустилась на колени прямо перед корнями. Камень был жёстким и холодным, но она этого не заметила. Её рука всё ещё висела в воздухе, не касаясь света, — просто висела, как мост, который ещё не достроили, но уже можно по нему идти.

— Мы здесь, — повторила она. — Мы пришли. Мы опоздали, но мы здесь.

Искра молчала. Свет её пульсировал — тук, тук, тук, — и в этом ритме было что-то, чего они не понимали. Не страх. Не боль. Что-то другое. Что-то похожее на вопрос.

Яга обвела взглядом остальных. Вид у них был всё ещё побитый — перепачканные смолой, сажей, водой и стыдом. Но что-то изменилось. Они больше не пытались рвать, греть, растить, поливать. Они просто стояли и смотрели.

— Вы не приходили, — сказала Яга. — А корни приходили. Она их и держит.

— Что нам делать? — спросил Водяной.

— Помочь вы уже попробовали. — Яга кивнула на дымящиеся, мокрые, разбухшие, присыпанные пеплом корни. — Может, теперь просто посидите?

Она замолчала. Подошла к корням, но не так, как остальные — не на колени, не с протянутой рукой. Она просто села на камень рядом с узлом, положила посох на колени и стала смотреть на свет. Как смотрят на огонь в печи. Как смотрят на закат. Как смотрят на то, что не требует действий.

— Останемся, — сказала она в пространство. — Не веришь — твоё дело. Мы подождём. И всё. Больше она ничего не сказала. Сидела и смотрела на свет.

Леший первым опустился на землю — просто встал на колени там, где стоял, и положил руки на корни. Не чтобы говорить с Древом. Чтобы быть рядом. Кикимора покосилась на Водяного. Он встретил её взгляд и молча сел на камень рядом с ней, взял за руку. Она благодарно сжала его пальцы и продолжила напевать — тихо, без слов, просто звук.

Жар-Птица опустилась на корточки рядом с Банником. Она не зажигалась — просто сидела, тёмная и тёплая. Кончиком крыла коснулась его лапы. Банник вздрогнул — и не отодвинулся. Вытянул лапу перед собой и стал смотреть на свои когти. Не прятал. Просто смотрел.

Полудница отошла к дальней стене и села там, обхватив колени руками. Ей нужно было пространство — больше, чем остальным. Она не пела, не касалась корней, не смотрела на свет. Она просто сидела и дышала. Медленно. Ровно. Не считая. Это было её способом быть рядом.

Время шло. Может быть, час. Может быть, больше. В пещере было тихо, только пульс Искры отсчитывал мгновения: тук, тук, тук. И в этом ритме что-то менялось. Медленно. Незаметно. Свет становился ровнее. Теплее. Корни, которые сжимали Искру, чуть-чуть разжались — не потому что их заставили, а потому что она сама их отпустила. Совсем немного. На волосок. Но все это заметили.

Кикимора продолжала напевать. «Баю-ле... баю-лей...». Она спела это десять раз. Двадцать. Сто. Голос стал хриплым, но она не останавливалась. Слова, которые ещё не были придуманы, но уже жили в ней. Искра слушала. Долго. Очень долго. А потом — ответила. Не сразу. Не на первый раз. Может быть, на сотый. Не звуком. Светом. Вспышкой. Короткой, но яркой. Как будто спросила: «Вы здесь?»

— Здесь, — сказала Кикимора. Голос сорвался, но она улыбалась. — Мы здесь.

И свет стал теплее. Корни разжались ещё немного. Искра вздохнула — не от боли, а просто потому что могла.

Первая ночь в пещере опустилась на них, тёплая и тихая. Они остались.

ГЛАВА 4. СХВАТКИ

Тишина после ночи была особенной. Она дышала вместе с ними. Она ждала. И все семеро, рассеявшиеся вокруг корней, чувствовали: что-то менялось. Что-то сдвинулось. Искра больше не сжималась в комок — она пульсировала ровно, глубоко, как сердце, которое наконец поверило, что его не бросят.

Кикимора привалилась спиной к корню. Глаза закрыты — но она слушала. Рядом дышал Водяной. Мерно, глубоко, как вода подо льдом. Чуть дальше потрескивали крылья Жар-Птицы. Полудница устроилась у дальней стены, всё ещё обхватив колени, но спина уже отпустила. Яга сидела на камне. Посох лежал на коленях. Она смотрела на свет — долгий, спокойный, без суеты. Так смотрят на огонь, когда знают: торопить его нельзя.

Искра шевельнулась.

Свет внутри корней дрогнул, сместился, как будто кто-то потянулся после долгого сна. Кикимора открыла глаза. Водяной поднял голову. Полудница перестала дышать.

А потом случился первый толчок.

Это было похоже на удар — не снаружи, а изнутри. Как будто кто-то взял их всех за сердце и сжал. Кикимора охнула и прижала ладонь к груди — воздух вдруг стал густым и тяжёлым, горло сжалось, как будто невидимая рука легла на шею. Она узнала это чувство. Очень старое. Так она задыхалась, когда душила любовью.

Водяной выпрямился — холод поднимался от ступней, медленно, неумолимо, как вода в колодце. Пальцы замёрзли. Лодыжки. Колени. Он смотрел, как камень под ногами покрывается инеем, и знал этот холод. Он сам был этим холодом. Сто лет.

Леший посмотрел на свои руки — и на одно короткое, ужасное мгновение они стали прозрачными. Он сжал кулак — кулак был. Но старый страх вернулся. Страх исчезнуть.

Искра закричала.

Крик ударил в стены. Заметался под сводом. Вернулся эхом — и свод дрогнул. Сверху посыпалась каменная крошка. Корни, державшие Искру, расходились — медленно, с влажным треском. Свет стал ярче.

Крик стих. Искра замерла.

Кикимора выдохнула — горло саднило, будто кричала она сама. Жар-Птица смаргивала светлые пятна. Банник прижимал лапу к груди — шрамы остывали.

Искра дышала. Часто, мелко, всем телом. Тишина стояла — не конец, а запятая.

Вторая схватка пришла быстрее, чем они ожидали. И сильнее.

Искра дёрнулась всем своим светом — и этот рывок отозвался в них, как удар колокола. Кикимора увидела, как Искра бьётся в корнях, как ей больно, как она не может пройти. И её руки начали двигаться сами. Пальцы скручивали невидимую нить. Затягивали. Вязали. Вокруг Искры начало сгущаться что-то полупрозрачное, сотканное из влаги и дыхания. Кокон. Мягкий. Тёплый.

Удушающий.

— Что ты делаешь?! — голос Полудницы прозвучал резко, как удар хлыста.

— Я защищаю! — Кикимора продолжала, не в силах остановиться. — Ей больно! Я не могу смотреть!

— Ты душишь её! Посмотри!

Кикимора посмотрела — и увидела. Кокон сжимался. Искра внутри задыхалась. А Полудница — она и сама не заметила, как начала считать. Раз-два-три. Раз-два-три. Ритм. Ей нужен был ритм. Искра сбивалась, её свет пульсировал неровно — и Полудница пыталась поймать его, упорядочить, задать. Вслух.

Искра попыталась подстроиться — и не смогла. Кокон давил. Счёт сбивал.

— Прекрати считать!

— Я помогаю!

— Ей твой ритм лишний! У неё свой!

Они стояли друг напротив друга и кричали. Остальные застыли.

Яга подошла. Не к Искре. К Кикиморе. Положила руку на её плечо. Просто положила. Ничего не сказала.

Кикимора замерла. Пальцы остановились. Она посмотрела на свои руки — и увидела кокон. Распустила его. Рывком. С ужасом.

Полудница замолчала. Счёт оборвался. Она смотрела на Ягу, на её руку, и сердце кололось в неправильном ритме.

— Прости, — прошептала Кикимора. — Прости, прости...

Яга убрала руку. Отошла. Села на свой камень.

Третья схватка оказалась самой сильной. Искра кричала так, что камень крошился.

Жар-Птица не выдержала. Искра металась в темноте корней, тыкалась слепо — и старая привычка взяла верх. Она распахнула крылья и вспыхнула. Слишком ярко.

Искра зажмурилась, сжалась в точку.

— Погаси! — голос Банника перекрыл крик. — Ты слепишь её!

— Я показываю путь!

Она продолжала. Свет лился из неё, как вода из прорванной плотины. Банник видел, как Искра жмётся, как гаснет её собственное свечение — и встал стеной. Огромной, каменной.

Искра закричала снова — теперь от отчаяния. Между светом и стеной.

— Уйди!

— Погаси свет!

Они стояли друг против друга — и оба не могли остановиться.

Яга не подошла. Она сидела на камне и смотрела. Ждала.

Банник первым услышал тишину. Не снаружи — внутри. Там, где только что грохотало «защити». Он посмотрел на свою грудь. Шрамы светились — но ровно, без натуги. Он перевёл взгляд на Жар-Птицу. Она стояла, раскинув крылья, и свет её дрожал — не от силы, от усталости.

Он шагнул к ней. Не стеной. Просто шагнул. Положил лапу на край её крыла. Тяжёлую, тёплую.

Жар-Птица вздрогнула. Лапа была горячей — горячее её собственного света. Она подняла глаза. Банник смотрел не на свет. На неё.

Крылья медленно сложились. Свет погас сам — не по приказу. Она выдохнула, и из клюва пошёл дым. Густой, серый, живой.

Искра за их спинами всхлипнула — и задышала.

Четвёртая схватка подкралась тихо. Искра уже не кричала — она стонала, и от этого стона было хуже, чем от любого крика. Свет её стал бледным, как зимнее солнце.

Водяной видел, что она теряет жар. Видел, как она дрожит. И его тело начало действовать раньше разума. Боль — это холод. Боль — это то, что нужно заморозить. Чтобы не чувствовать. Чтобы не страдать. Он потянулся к воде вокруг Искры — и начал охлаждать её.

Искра выдохнула. Ей стало легче. Она перестала бороться. Начала засыпать.

— Водяной, перестань! — Кикимора схватила его за руку. — Ты её замораживаешь!

— Ей больно. Я убираю боль.

— Ты её усыпляешь! Она не сможет родиться, если замёрзнет!

Он посмотрел на свои руки — и увидел лёд. Тонкую, прозрачную корку, которая ползла по пальцам, перекидывалась на корни, подбиралась к Искре. Он не хотел этого. Оно само.

В стороне, у дальней стены, стоял Леший. Он видел всё. Кокон. Счёт. Свет. Стену. Лёд. И он боялся. Боялся, что его помощь станет худшей из всех. Он отступил на шаг. На два. Ноги налились тяжестью.

— Леший. — Голос Яги. — Ты нужен.

— Я боюсь сломать.

— Ты не сломаешь. Ты — корень. Она — в корнях. Иди.

Леший посмотрел на свои руки. Старые, узловатые. Он сделал шаг. Один. Ещё шаг. Ещё. Подошёл к корням и положил на них руки. Просто положил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.